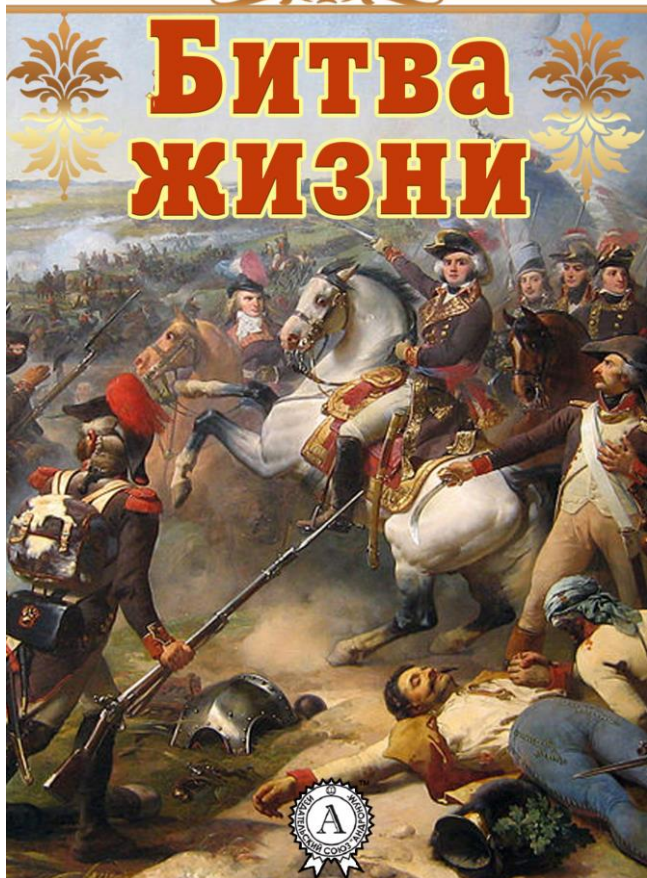


Чарльз Диккенс



Битва
жизни



*«Битва жизни» — блестящая новелла великого английского писателя Чарльза Диккенса (англ. Charles John Huffam Dickens, 1812–1870).****

Мэрион и Грейс счастливо живут со своим отцом в деревне. Мэрион помолвлена с молодым человеком Альфредом Хетфилдом, но он временно уезжает в город, чтобы закончить учебу. Девушка ждет своего жениха, но вдруг появляется некий Майкл Уорден, который пытается подговорить ее бежать с ним...

Из-под пера Чарльза Диккенса вышли такие шедевры, как «Наш общий друг», «Блестящая будущность», «Проклятый дом», «Скряга Скрудж», «Колокола», «Сверчок за очагом», «Рассказы», «Очерки Боза», «Очерки лондонских нравов».

Чарльз Диккенс — неподражаемый мастер слова, чей вклад в мировую литературу переоценить невозможно. Его произведения переведены на разные языки мира, а по сюжетам его великолепных романов снято десятки фильмов.

Диккенс Чарльз

Битва жизни

Часть первая

Когда-то, в доброй Англии, — все равно когда и где именно, — дана была упорная битва. Это случилось летом, когда зеленели волны травы; и сражение длилось целый день. Не один полевой цветок, — благоухающий кубок, созданный рукою Всемогущего для росы, — приник в этот день к земле, в ужасе, что эмали его чашечки вровень с краями наполнилась кровью. Не одно насекомое, обязанное нежным цветом своим невинным листьям и траве, было перекрашено в этот день умирающими людьми и, убегая в испуге, обозначило след свой неестественною полосою. Пестрая бабочка, пролетая по воздуху, обагрила кровью свои крылья. Заалела река; истоптанное поле превратилось в болото, и лужи крови в следах от ног и копыт алели, сверкая на солнце, по всему пространству равнины.

Избави нас небо увидеть когда-нибудь сцену, какую увидел на поле битвы месяц, когда, появившись из-за черной линии далекого горизонта, окаймленного ветвями деревьев, он поднялся в небо и взглянул на равнину, усеянную

лицами, обращенными вверх, — лицами, которые когда-то у груди матери искали родного взора или дремали в счастливом забытии. Избави нас Бог узнать все тайны, шепотом переданные зараженному ветру, пролетавшему над сценою битвы днем, и смерти, и страдания ночью! Много раз одинокий месяц светил над этим полем и много раз озаряли его печальные стражи — звезды, и много раз пронесся над ним ветер со всех стран света, пока не изгладились следы сражения.

Эти следы держались долго, но проявлялись только в мелочах: природа выше дурных людских страстей — она повеселела скоро и снова улыбнулась над преступным полем битвы, как улыбалась прежде, когда оно было еще невинно. Жаворонки по прежнему запели над ним в вышине; тени облаков, нагоняя друг друга, замелькали по траве и нивам, по огородам и лесам, по кровлям и шпицу церкви молодого городка под кущею деревьев, — и убегали к далекой меже неба с землей, где бледнела вечерняя заря. Поле засеяли хлебом, и собирали с него жатву; алая некогда река задвигала колеса мельницы; крестьяне, посвистывая, пахали землю; там и сям виднелись группы жнецов и косарей, мирно занятых своим делом; паслись овцы и быки; дети кричали и шумели по пажитям, прогоняя птиц; из труб хижин подымался дым; мирно звучал воскресный колокол;

жили и умирали старики и старухи; робкие полевые создания и простые цветы в кустарнике и садах расцветали и увядали в урочный срок: и все это на страшном, кровавом поле битвы, где тысячи пали мертвые среди жаркой сечи.

Сначала среди всходившего хлеба появлялись пятнами густо-зеленые участки, и народ смотрел на них с ужасом. Год за годом эти пятна показывались снова; все знали, что под этими тучными местами лежат кучами схороненные люди и лошади и удобряют почву. Крестьяне, вспахивая эти места, с отвращением сторонились от множества крупных червей; связанные здесь снопы долго назывались снопами битвы и откладывались особо; никто не помнил, чтобы такой сноп попал когда-нибудь в общий сбор жатвы. Долгое время плуг, прорезывая свежую борозду, выбрасывал остатки воинских вещей. Долго встречались на поле битвы раненые деревья, обломки изрубленных и разрушенных оград и окопов, где дрались на смерть, истоптанные места, где не всходило ни травки, ни былинки. Долго ни одна деревенская красавица не хотела украсить своей головы или груди прекраснейшим цветком с этого поля смерти; прошло много лет, а в народе все еще жило поверье, что растущие здесь ягоды оставляют на сорвавшей их руке почти неизгладимое пятно.

Но года быстро и незаметно, как летние тучки, пролетая над полем, изгладили мало-помалу и эти следы старинной битвы; они унесли с собою предания, жившие в памяти окрестных жителей; сказания о битве перешли, наконец, слабая из году в год, в сказки старух, смутно повторяемые у зимнего огонька.

Где так долго росли неприкосновенные на своих стеблях цветы и ягоды, там явились сады, воздвигнулись дома, и дети играли на лужайке в сражение. Раненые деревья уже давно были срублены на дрова к Рождеству и, треща, сделались добычею пламени. Густая зелень тучных участков среди ржи стала не свежее памяти о тех, чей прах под нею покоился. Плуг все еще выбрасывал от времени до времени ржавые куски металла, но уже трудно было решить, какое было их употребление, и находившие их дивовались им и спорили. Старый изрубленный кирас и шлем висели в церкви так долго, что дряхлый, полуслепой старик, напрасно старавшийся теперь разглядеть их над беленою аркою, дивился им, будучи еще ребенком. Если бы павшие на поле битвы могли воскреснуть на минуту в том самом виде, как пали, и каждый на том месте, где застигла его преждевременная смерть, израненные, бледные, как тени, воины сотнями глянули бы в двери и окна жилищ, окружили бы мирный домашний очаг, сменили бы

собою запасы хлеба в амбарах и житницах, стали бы между грудным ребенком и его кормилицей, поплыли бы за рекой, закружились бы около мельницы, покрыли бы и сад и дуг, легли бы стогами полумертвых тел на сенокосе. Так изменилось поле битвы, где тысячи на тысячах пали в жаркой схватке.

Нигде, может быть, не изменилось оно так много, — лет сто тому назад, — как в маленьком саду возле одного старого каменного дома с крыльцом, осененным каприфолиями: так, в светлое осеннее утро, раздавались смех и музыка, и две девушки весело танцевали на траве; с полдюжины крестьянок, собиравших, стоя на лестницах, яблоки с дерев, приостановили работу и смотрели на пляску, разделяя веселье девушек. Сцена была очаровательная, живая, неподдельно веселая: прекрасный день, уединенное место; девушки в полной безопасности танцевали без малейшего принуждения, истинно от всей души.

Если бы на свете не заботились об эффекте, я думаю (это мое личное мнение, и я надеюсь, что вы согласитесь со мною), — я думаю, что вам жилось бы лучше, да и другим было бы приятнее с вами жить. Нельзя было смотреть без восторга на пляску этих девушек. Единственными зрителями были крестьянки, собиравшие на лестницах яблоки. Девушки были очень довольны, что пляска им

нравится, но танцевали они ради собственного удовольствия (или, по крайней мере, вы непременно так подумали бы); и вы любовались бы ими также невольно, как невольно они танцевали. Как они танцевали!

Не так, как оперные танцовщицы. Нет, нисколько. И не так, как первые ученицы какой-нибудь мадам N. N. Нет. Это был ни кадриль, ни менуэт, ни контраданс, а что-то особенное: ни в старом, ни в новом стиле, ни в английском, ни во французском; разве, может быть, что-то в роде испанской пляски, как говорят, веселой, свободной и похожей на импровизацию под звуки кастаньет. Они кружились, как легкое облако, перелетали из конца в конец по аллее, и воздушные движения их, казалось, разливались по ярко озаренной сцене, все дальше и дальше, как крут на воде. Волны волос их и облако платья, пластическая трава под ногами, шумящие в утреннем воздухе ветви, сверкающие листья и пестрая тень их на мягкой зелени, бальзамический ветер, весело ворочающий далекую мельницу, все вокруг этих девушек, — даже крестьянин с своим плугом и лошадьми, чернеющие далеко на горизонте, как будто они последние вещи в мире, — все, казалось, танцевало вместе с девушками.

Наконец, младшая из сестер, запыхавшись, с веселым смехом, бросилась отдохнуть на скамью.

Старшая прислонилась возле нее к дереву. Оркестр, — странствующие скрипка и арфа, — завершил громким финалом, в доказательство свежести своих сил; но в самом деле, музыканты взяли такое темпо и, споря в быстроте с танцевавшими, дошли до такого presto, что не выдержали бы ни полминуты дольше. Крестьянки под яблонями высказали свое одобрение неопределенным говором и тотчас же принялись опять за работу, как пчелы.

Деятельность их удвоилась, может быть, от появления пожилого джентльмена: это был сам доктор Джеддлер, владелец дома и сада, и отец танцевавших девушек. Он выбежал посмотреть, что тут происходит, и кой черт разыгрался у него в саду еще до завтрака. Доктор Джеддлер, надо вам знать, был большой философ и не очень любил музыку.

— Музыка и танцы — сегодня! — пробормотал доктор, остановившись в недоумении. — Я думал, что сегодня страшный для них день. Впрочем, свет полон противоречий. Грация! Мери! — продолжал он громко: — Что это? Или сегодня поутру свет рехнулся еще больше?

— Будьте к нему снисходительны, папенька, если он рехнулся, — отвечала меньшая дочь его, Мери, подходя к нему и устремивши на него глаза: — Сегодня чье-то рождение.

— Чье-то рождение, плутовка? — возразил доктор. — Да разве ты не знаешь, что каждый день чье-нибудь рождение? Что, ты никогда не слышала, сколько новых актеров является каждую минуту в этом, — ха, ха, ха! право, нельзя говорить без смеха, — в этом сумасбродном и пошлом фарсе — жизни?

— Нет, не слышала.

— Да, конечно, нет; ты женщина, почти женщина, сказал доктор и устремил глаза на ее милое личико, которое она все еще не отдаляла от его лица. — Я подозреваю, не твое ли сегодня рождение.

— Нет? В самом деле? — воскликнула его любимица и протянула свои губки.

— Желаю тебе, — сказал доктор, целуя ее, — забавная мысль!.. счастливо встретить этот день еще много раз. — «Хороша идея, нечего сказать, — подумал доктор, — желать счастливого повторения в таком фарсе.... ха, ха, ха!»

Доктор Джеддлер был, как я уже сказал, большой философ; зерно, пафос его философии состоял в том, что он смотрел на свет и жизнь, как на гигантский фарс, как на что-то бессмысленное, недостойное серьезного внимания рассудительного человека. Корень этой системы держался в почве поля битвы, на котором он жил, как вы сами скоро увидите.

— Хорошо! Но откуда же достали вы музыку? — спросил доктор. — Какие-нибудь мошенники! Откуда эти менестрели?

— Их прислал Альфред, — отвечала Грация, поправляя в волосах сестры несколько полевых цветов, которые вплела с полчаса тому назад, любуясь юною красотой Мери.

— А! Альфред прислал музыкантов; право? — сказал доктор.

— Да. Он встретил их сегодня на заре при въезде в город. Они путешествуют пешком и ночевали здесь; сегодня рождение Мери, так он подумал, что, может быть, это позабавит ее, и прислал их сюда ко мне с запискою, что если я того же мнения, так они к нашим услугам.

— Да, знаю, — беспечно заметил доктор, — он всегда спрашивает вашего мнения.

— А мое мнение было не против, — весело продолжала Грация. Она остановилась и, отступивши на шаг, любовалась с минуту красивою, убранною ею головкою: — Мери была в духе и начала танцевать; я пристала, и вот мы протанцевали под музыку Альфреда, пока не выбились из сил. И музыка была для вас тем приятнее, что ее прислал Альфред. Не правда ли, милая Мери?

— Право, не знаю, Грация. Как ты мне докучаешь своим Альфредом!

— Докучаю тебе твоим женихом? отвечала сестра.

— Да я вовсе не требую, чтобы мне о нем говорили, — возразила капризная красавица, обрывая и рассыпая по земле лепестки с какого-то цветка. — Мне и так прожужжали им уши; а что до того, что он мне жених...

— Тс! Не говори так слегка о верном, вполне тебе преданном сердце, Мери, — прервала ее сестра. — Не говори так даже и в шутку. Такого верного сердца не найти в целом мире!

— Нет, нет, — отвечала Мери, подняв брови в беспечно милым раздумье, — может статься, не найти. Только я не вижу в этом большой заслуги. Я — я вовсе не нуждаюсь в его непоколебимой верности. Я никогда ее у него не требовала. Если он ожидает, что я... Впрочем, милая Грация, что нам за необходимость говорить о нем именно теперь?

Нельзя было без наслаждения смотреть на грациозных, цветущих сестер: они ходили, обнявшись, по саду, и в разговоре их слышался странный контраст серьезного размышления с легкомысленностью, и вместе с тем, гармония любви, отвечающей на любовь. Глаза меньшей сестры наполнились слезами; внутри ее происходила борьба: глубокое, горячее чувство прорывалось сквозь своенравный смысл ее речей.

Разность их лет была года четыре, не больше; но Грация, как часто случается в подобных обстоятельствах, когда обе лишены надзора матери (жены доктора не было уже на свете), Грация так неусыпно заботилась о меньшей сестре своей и была ей предана так безгранично, что казалась старше, нежели была на самом деле; она, естественно, не по летам являлась чуждой всякого с нею соперничества и разделяла, как будто, прихоти ее фантазии только из симпатии и искренней любви. Великие черты матери, самая тень и слабое отражение которых очищает сердце и возносит высокую натуру ближе к ангелам!

Мысли доктора, когда он смотрел на дочерей и слушал их разговор, не выходили сначала из круга веселых размышлений о глупости всякой любви и страсти, и о заблуждении молодежи, которая верит на минуту в важность этих мыльных пузырей, и потом разочаровывается — всегда, всегда!

Но добрые домашние качества Грации, ее самоотвержение, кротость ее права, мягкого и тихого, но вместе с тем смелого и твердого, высказались ему ярче в контрасте ее спокойной, хозяйской, так сказать, фигуры с более прекрасной наружностью меньшей сестры, — и он пожалел ее, пожалел их обеих, что жизнь такая смешная вещь.

Доктору вовсе не приходило в голову спросить себя, не задумали ли его дочери, или хоть одна из них, сделать из этой шутки что-нибудь серьёзное. Впрочем, ведь он был философ.

Добрый и великодушный от природы, он споткнулся нечаянно об обыкновенный философский камень (открытый гораздо легче предмета изысканий алхимиков), который сбивает иногда с ног добрых и великодушных людей и одарен роковым свойством превращать золото в сор и лишать ценности все дорогое.

— Бритн! — закричал доктор. — Бритн! Эй!

Из дому появился маленький человек с необыкновенно кислой и недовольной физиономией и отозвался на призыв доктора бесцеремонным: «что там?»

— Где обеденный стол? — спросил доктор.

— В комнатах, — отвечал Бритн.

— Не угодно ли накрыть его здесь, как сказано вчера с вечера? — продолжал доктор. — Разве вы не знаете, что будут гости, что нам надо покончить дела еще утром, до приезда почтовой коляски, и что это особенный, важный случай?

— Я не мог ничего сделать, доктор Джеддлер, пока не кончат собирать яблоки; сами рассудите, что я мог сделать? — возразил Бритн, постепенно возвышая голос, так что договорил почти криком.

— Что ж, кончили они? — спросил доктор, взглянув на часы и ударив рука об руку. — Скорей же! Где Клеменси?

— Здесь, мистер, — отвечал голос с лестницы, по которой проворно сбежала пара толстых ног. — Довольно, сходите, — сказала она, обращаясь к собиравшим яблоки. — Все будет готово в одну минуту, мистер.

И она начала страшно суетиться; зрелище было довольно оригинально, и заслуживает несколько предварительных замечаний.

Клеменси было лет тридцать: лицо ее было довольно полно и мясисто, но свернуто в какое-то странно комическое выражение. Впрочем, необыкновенная угловатость ее походки и приемов заставляла забывать обо всех возможных лицах в мире. Сказать, что у нее были две левые ноги и чьи-то чужие руки, что все четыре оконечности казались вывихнутыми и торчали как будто вовсе не из своих мест, когда она начинала ими двигать, — значит набросать только самый слабый очерк действительности. Сказать, что она была совершенно довольна таким устройством, как будто это вовсе ее не касалось, и что она предоставляла своим рукам и ногам распоряжаться, как им угодно, — значит отдать только слабую справедливость ее равнодушию. Костюм ее составляли: пара огромных упрямых башмаков,

никогда не находивших нужным идти, куда идет нога; синие чулки; пестрое платье самого нелепого узора, какой только можно достать за деньги, и белый передник. Она постоянно ходила в коротких рукавах; с локтей ее (уж так устроила сама судьба) никогда не сходили царапины, интересовавшие ее так живо, что она неумоимо, хотя и тщетно, старалась оборотить локти и посмотреть на них. На голове у нее обыкновенно торчала где-нибудь шапочка; редко, впрочем, на том месте, где носят ее все прочие. Но за то Клеменси была с ног до головы безукоризненно опрятна и умела хранить в наружности какую-то кривую симметрию. Похвальное рвение быть и казаться опрятной и благоприличной часто было причиной одного из поразительнейших ее маневров: она схватывалась одной рукой за деревянную ручку (часть костюма, в просторечии называемая планшеткой) и с жаром принималась дергать другой рукой платье, пока оно не располагалось в симметрические складки.

Вот наружность и костюм Клеменси Ньюком, бессознательно, как подозревали, исковеркавшей полученное ею при крещении имя Клементивы, хотя никто не знал этого наверное, потому что глухая старуха мать, истинный феномен долголетия, которую она кормила почти с самого детства, умерла, а других родственников у нее не было. Накрывая на стол, Клеменси по временам

останавливалась, сложивши свои голые красные руки, почесывала раненые локти, поглядывала на стол с совершенным равнодушием, и потом, вспомнив вдруг, что еще чего-нибудь недостает, бросалась за забытыми вещами.

— Адвокаты идут, мистер! — произнесла Клеменси не очень приветливым голосом.

— Ага! — воскликнул доктор, спеша им навстречу к воротам сада. — Здравствуйте, здравствуйте! Грация! Мери! Господа Снитчей и Краггс пришли. А где же Альфред?

— Он, верно, сейчас будет назад, — сказала Грация. — Ему сегодня столько было хлопот со сборами к отъезду, что он встал и вышел на рассвете. Здравствуйте, господа.

— Позвольте пожелать вам доброго утра, — сказал Снитчей. — Это и за себя и за Краггса. (Краггс поклонился). — Целую вашу ручку, — продолжал он, обращаясь к Мери, и поцеловал ручку, — и желаю вам, — желал он или не желал на самом деле, неизвестно: с первого взгляда он не походил на человека, согретого теплым сочувствием к ближнему, — желаю вам еще сто раз встретить этот счастливый день.

Доктор, заложивши руки в карманы, значительно засмеялся. «Ха! ха! ха! Фарс во сто актов!»

— Однако же я уверен, — заметил Снитчей, приставляя небольшую синюю сумку к ножке стола, — вы ни в коем случае не захотите укоротить его для этой актрисы, доктор Джеддлер.

— Нет, — отвечал доктор. — Боже сохрани! Дай Бог ей жить и смеяться над фарсом, как можно дольше, а в заключение сказать с остряком французом: фарс разыгран, опускайте занавес.

— Остряк француз был не прав, доктор Джеддлер, — возразил Снитчей, пронзительно заглянувши в сумку, — и ваша философия ошибочна, будьте в этом уверены, как я уже не раз вал говорил. Ничего серьезного в жизни! Да что же по-вашему права?

— Шутка, — отвечал доктор.

— Вам никогда не случалось иметь дело в суде? — спросил Снитчей, обратив глаза от сумки на доктора.

— Никогда, — отвечал доктор.

— Если случится, — заметил Снитчей, — так, может быть, вы перемените ваше мнение.

Краггс, который, казалось, только очень смутно или вовсе не сознавал в себе отдельного, индивидуального существования и был представляем Снитчеем, отважился сделать свое замечание. Это замечание заключало в себе единственную мысль, которая не принадлежала

Снитчею; но зато ее разделяли с Краггсом многие из мудрых мира сего.

— Оно стало нынче уж слишком легко, — заметил Краггс.

— Что, вести процесс? — спросил доктор.

— Да все, — отвечал Краггс. — Теперь все стало как-то слишком легко. Это порок нашего времени. Если свет шутка (я не приготовился утверждать противное), так следовало бы постараться, чтобы эту шутку было очень трудно разыграть. Следовало бы сделать из нее борьбу, сэр, и борьбу насколько возможно тяжелую. Так следовало бы; а ее делают все легче да легче. Мы смазываем маслом врата жизни, а им следовало бы заржаветь. Скоро они начнут двигаться без шума, а им следовало бы визжать на петлях, сэр.

Краггс, казалось, сам завизжал на своих петлях, высказывая это мнение, которому наружность его сообщила невероятный эффект. Краггс был человек холодный, сухой, крутой, одетый, как кремень, в серое с белым, с глазами, метавшими мелкие искры, как будто их высекает огниво. Три царства природы имели каждое своего идеального представителя в этом трио споривших; Снитчей был похож на сороку или ворону (только без лоску), а сморщенное лицо доктора походило на зимнее яблоко; ямочки на нем изображали следы

птичьих клювов, а маленькая косичка сзади торчала в виде стебелька.

В это время статный молодой человек, одетый по-дорожному, быстро вошел в сад в сопровождении слуги, нагруженного чемоданом и узелками; веселый и полный надежды вид его гармонировал с ясным утром. Трое беседовавших сдвинулись в одну группу, как три брата Парок, или три Грации, замаскированные с величавшим искусством, или, наконец, как три вещие сестры в степи, — и приветствовали пришедшего.

— Счастливо встречать этот день, Альф, — сказал доктор.

— Встретить его еще сто раз, мистер Гитфильд, — сказал, низко кланяясь, Снитчей.

— Сто раз! — глухо и лаконически проговорил Краггс.

— Что за гроза! — воскликнул Альфред, вдруг остановившись. — Один, два, три — и все предвестники чего-то недоброго на ждущем меня океане. Хорошо, что не вас первых встретил я сегодня поутру, а то это дурная была бы примета. Первую встретил я Грацию, милую, веселую Грацию, — и вы мне не страшны!

— С вашего позволения, мистер, вы первую встретили меня, — сказала Клеменси Ньюком. — Она, извольте припомнить, вышла сюда гулять еще да восхода солнца. Я оставалась в комнатах.

— Да, правда. Клеменси первая попалась мне сегодня навстречу, — сказал Альфред. — Все равно, я не боюсь вас и под щитом Клеменси!

— Ха, ха, ха! — это я за себя и за Краггса, — сказал Снитчей. — Хорош щит!

— Может быть, не так дурен, как кажется, — отвечал Альфред, дружески пожимая руки доктору, Снитчею и Краггсу.

Он оглянулся вокруг.

— Где же.... Боже мой!

И быстрое, неожиданное движение его сблизило вдруг Джонатана Снитчей и Томаса Краггса еще больше, нежели статьи их договора при заключении товарищества. Он быстро подошел к сестрам, и.... впрочем, я лучше не могу передать вам, как он поклонился сперва Мери, а потом Грации, как если замечу, что мистер Краггс, глядя на его поклон, нашел бы, вероятно, что и кланяться стало нынче слишком легко.

Доктор Джеддлер, желая, может быть, отвлечь внимание, поспешил приступить к завтраку, и все сели за стол. Грация заняла главное место, но так ловко, что отделила сестру и Альфреда от остального общества. Снитчей и Краггс сели по углам, поставив синюю сумку для безопасности между собой. Доктор по обыкновению сел против Грации. Клеменси суежилась около стола с какою-то гальванической деятельностью, а

меланхолический Бритн за другим маленьким столиком торжественно разрезывал кусок говядины и окорок.

— Говядины? — спросил Бритн, подойдя к Снитчею с ножом и вилкой в руке и бросив в него лаконичный вопрос, как метательное оружие.

— Конечно, — отвечал адвокат.

— А вам тоже?

Это относилось к Краггсу.

— Да, только без жиру, и получше сваренный кусочек, — отвечал Краггс.

Исполнив эти требования и умеренно наделив доктора (он как будто знал, что больше никто не хочет есть), Бритн стал как только можно было ближе, не нарушая приличия, возле Компании под фирмой «Снитчей и Краггс», и суровым взглядом наблюдал, как управляются они с говядиной. Раз, впрочем, строгое выражение лица его смягчилось: это случилось по поводу того, что Краггс, зубы которого были не из лучших, чуть не подавился, причем Бритн воскликнул с большим одушевлением: «Я думал, что он уж и умер!»

— Альфред, — сказал доктор, — два-три слова о деле, пока мы еще за завтраком.

— Да, за завтраком, — повторили Снитчей и Краггс, которые, кажется, и не думали оставить его.

Альфред хоть и не завтракал, хоть и был, казалось, по уши занят разными делами, однако же почтительно отвечал:

— Если вам угодно, сэр.

— Если может быть что-нибудь серьёзное, — начал доктор, — в таком...

— Фарсе, как человеческая жизнь, — договорил Альфред.

— В таком фарсе, как наша жизнь, — продолжал доктор, — так это возвращение в минуту разлуки двойного годового праздника, с которым связано для нас четырех много приятных мыслей и воспоминание о долгих, дружеских отношениях. Но не об этом речь и не в том дело.

— Нет, нет, доктор Джеддлер, — возразил молодой человек, — именно в том-то и дело; так говорит мое сердце, так скажет, я знаю, и ваше, — дайте ему только волю. Сегодня я оставляю ваш дом, сегодня кончается ваша опека; мы прерываем близкие отношения, скрепленные давностью времени, — им никогда уже не возобновиться вполне; мы прощаемся и с другими отношениями, с надеждами впереди, — он взглянул на Мери, сидевшую возле него, — пробуждающие мысли, которые я не смею теперь высказать. Согласитесь, — прибавил он, стараясь ободрить шуткой и себя и доктора, — согласитесь, доктор, что в этой глупой, шутовской куче сора есть же

хоть зернышко серьезного. Сознаемся в этом сегодня.

— Сегодня! — воскликнул доктор. — Слушайте его! Ха, ха, ха! Сегодня, в самый бессмысленный день во всем бессмысленном году! В этот день, здесь, на этом месте, дано было кровопролитное сражение. Здесь, где мы теперь сидим, где сегодня утром танцевали мои дочери, где полчаса тому назад собирали нам к завтраку плоды с этих дерев, пустивших корни не в землю, а в людей, — здесь угасли жизни столь многих, что несколько поколений после того, еще за мою память, здесь, под нашими ногами, разрыто было кладбище, полное костей, праха костей и осколков разбитых черепов. А из всех сражавшихся не было и ста человек, которые знали бы, за что они дерутся; в числе праздновавших победу не было и ста, которые знали бы, чему они радуются. Потеря или выигрыш битвы не послужили в пользу и полусотне. Теперь нет и полдюжины, которые сходились бы во мнении о причине и исходе сражения; словом, никто никогда не знал о нем ничего положительного, исключая тех, которые оплакивали убитых. Очень серьезное дело! — прибавил доктор со смехом.

— А мне так все это кажется очень серьезным, — сказал Альфред.

— Серьезным! — воскликнул доктор. — Если вы такие вещи признаете серьёзными, так вам остается только или сойти с ума, или умереть, или вскарабкаться куда-нибудь на вершину горы и сделаться отшельником.

— Кроме того, это было так давно, — сказал Альфред.

— Давно! — возразил доктор. — А чем занимался свет с тех пор? Уж не проведали ли вы, что он занимался чем-нибудь другим? Я, признаюсь, этого не заметил.

— Занимался, отчасти, и судебными делами, — заметил Снитчей, мешая ложечкой чай.

— Несмотря на то, что судопроизводство слишком облегчено, — прибавил его товарищ.

— Вы меня извините, доктор, — продолжал Снитчей, — я уже тысячу раз высказывал в продолжение ваших споров мое мнение, а все-таки повторяю, что в тяжбах и в судопроизводстве я нахожу серьёзную сторону, нечто, так сказать, осязательное, в чем видны цель и намерение...

Тут Клеменси Ньюком зацепила за угол стол, и зазвенели чашки с блюдечками.

— Что это? — спросил доктор.

— Да все эта негодная синяя сумка, — отвечала Клеменси, — вечно кого-нибудь с ног собьет.

— В чем видны цель и намерение, внушающие уважение, — продолжал Снитчей. — Жизнь фарс, доктор Джеддлер, когда есть на свете судопроизводство?

Доктор засмеялся и посмотрел на Альфреда.

— Соглашаюсь, если это вам приятно, что война глупость, — сказал Снитчей. — В этом я с вами соглашаюсь. Вот, например, прекрасное место, — он указал на окрестность вилкою, — сюда вторглись некогда солдаты, нарушители прав владения, опустошили его огнем и мечом. Хе, хе, хе! добровольно подвергаться опасности от меча и огня! Безрассудно, глупо, решительно смешно! И вы смеетесь над людьми, когда вам приходит в голову эта мысль; но взглянем на эту же прекрасную местность при настоящих условиях. Вспомните об узаконениях относительно недвижимого имущества; о правах завещания и наследования недвижимости; о правилах залога и выкупа ее; о статьях касательно арендного, свободного и податного ею владения; вспомните, — продолжал Снитчей с таким одушевлением, что щелкнул зубами, — вспомните о путанице узаконений касательно прав и доказательства прав на владение, со всеми относящимися к ним противоречащими прежними решениями и многочисленными парламентскими актами; вспомните о бесконечном, замысловатом

делопроизводстве по канцеляриям, к которому может подать повод этот прекрасный участок, — и признайтесь, что есть же и цветущие места в этой степи, называемой жизнью! Надеюсь, — прибавил Снитчей, глядя на своего товарища, — что я говорю за себя и за Краггса?

Краггс сделал утвердительный знак, и Снитчей, несколько ослабевший от красноречивой выходки, объявил, что желает съесть еще кусок говядины и выпить еще чашку чаю.

— Я не защищаю жизни вообще, — прибавил он, потирая руки и усмехаясь. — Жизнь исполнена глупостей, и еще кое-чего хуже — обетов в верности, бескорыстии, преданности, и мало ли в чем. Ба! мы очень хорошо знаем их цену. Но все-таки вы не должны смеяться над жизнью; вы завязали игру, игру не на шутку! Все играют против вас, и вы играете против всех. Вещь презанимательная! Сколько глубоко соображенных маневров на этой шашечнице! Не смейтесь, доктор Джеддлер, пока не выиграли игры; да и тогда не очень-то. Хе, хе, хе! Да, и тогда не очень, — повторил Снитчей, покачивая головой и помаргивая глазами, как будто хотел прибавить: — а лучше, по-моему, покачайте голову.

— Ну, Альфред, — спросил доктор, — что вы теперь скажете?